

УДК 321.7

ББК 66.6

P22

ПРОЕКТ СЕРИЙНЫХ МОНОГРАФИЙ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ

Руководитель проекта АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Рансимен, Д.

P22 Ловушка уверенности. История кризиса демократии от Первой мировой войны до наших дней [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. А. Олейникова; Нац. иссл. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 400 с. — (Политическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1528-0 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1852-6 (e-book).

В книге представлена история современной демократии в ее кризисных моментах — от Первой мировой войны до экономического краха 2008 г. Рассматривается, как демократия смогла пережить ряд серьезных угроз, среди которых Великая депрессия, Карибский кризис, Уотергейт и падение банка Lehman Brothers. Особое внимание уделяется политикам и мыслителям, которым пришлось иметь дело с этими кризисами: Вудро Вильсону, Джавахарлалу Неру, Конраду Аденауэру, Фрэнсису Фукуяме и Барраку Обаме.

Книга адресована историкам, политологам, экономистам, а также широкому кругу читателей.

УДК 321.7

ББК 66.6

В оформлении обложки использована фотография Мелвила
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iphone6S_X-RAY.jpg>
(melvil / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-4.0)

Перевод выполнен по изданию: *David Runciman. The Confidence Trap. A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present*

Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики
<<http://id.hse.ru>>

doi: 10.17323/978-5-7598-1528-0

ISBN 978-5-7598-1528-0 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1852-6 (e-book)
ISBN 978-0-691-14868-7 (англ.)

© 2013 by David Runciman.
First published by Princeton
University Press, 2013
© Перевод на рус. яз.
Издательский дом Высшей
школы экономики, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 11
Примечание о терминологии 22
ВВЕДЕНИЕ. ТОКВИЛЬ: ДЕМОКРАТИЯ В КРИЗИСЕ 25
Конкурирующие взгляды 28
Демократия и судьба 36
Демократия и кризис 45
Путеводитель по будущему 55
ГЛАВА I. 1918: ЛОЖНЫЙ РАССВЕТ 61
Кризис 61
Автократия против демократии 64
Две речи 70
Поворот на 180 градусов 79
Выборы 86
Итоги 93
ГЛАВА II. 1933: САМ СТРАХ 105
Кризис 105
Соперники 108
Сезон конференций 119
Срыв 129
Итоги 136
ГЛАВА III. 1947: НОВАЯ ПОПЫТКА 144
Кризис 144
Неопределенная победа 148
Изобретение «холодной войны» 153
Чего же захочет уважающая себя демократия? 160
Вид с горы 163
Итоги 172

ГЛАВА IV. 1962: НА ГРАНИ180
Кризис.180
Умеют ли демократии блефовать?183
Старик и скандал199
Итоги211
ГЛАВА V. 1974: КРИЗИС УВЕРЕННОСТИ221
Кризис.221
Война и разрядка226
Нефть и инфляция236
Смена режима244
Итоги256
ГЛАВА VI. 1989: КОНЕЦ ИСТОРИИ264
Кризис.264
Пророки267
Посторонние.282
Итоги296
ГЛАВА VII. 2008: НАЗАД В БУДУЩЕЕ305
Кризис.305
Расплата311
Искупитель321
Итоги329
ЭПИЛОГ. ЛОВУШКА УВЕРЕННОСТИ.337
Далекое и близкое337
Четыре вызова350
Ловушка уверенности371
Благодарности374
Примечание об источниках376
Источники379

Сложность политической жизни в том,
что она либо слишком затягивает, либо
слишком пресна.

Альберт Хиршман

О разочаровании, 1982

Пробуй снова. Провались снова.
Провались лучше.

Сэмюэл Беккет

Worstward Ho!, 1983

Предисловие

ОТ ОМ, что случилось с демократией за последние 100 лет, можно рассказать две истории. Одна — вполне очевидная история успеха. Демократические режимы показали, что они выигрывают войны, восстанавливаются после экономических кризисов, справляются с экологическими проблемами и регулярно добиваются лучших результатов, чем их соперники, которых они в итоге переживают. В начале XX в. было всего несколько демократических стран (по тем подсчетам, где в качестве критерия используется всеобщее избирательное право, не было ни одной). Теперь их очень много (по оценкам Freedom House около 120). Конечно, поступательное развитие демократии в этот период не было абсолютно гладким и непрерывным. Оно было хаотичным и эпизодическим: если следовать знаменитой метафоре Сэмюэля Хантингтона, оно шло «волнами». Тем не менее, несмотря на временные спады и подъемы, вряд ли остались сомнения в том, что к концу прошлого столетия демократия пришла в целом победительницей, так что можно даже повторить то, что Фрэнсис Фукуяма сказал более двух десятилетий назад: либеральная демократия стала единственным убедительным ответом на фундаментальные проблемы человеческой истории.

Но наряду с этой историей успеха о демократии можно рассказать и другую историю — историю пессимизма и страха. Какими бы успешными демократические страны ни были на практике, каких бы результатов по прошествии лет они ни добились, в них всегда было полно людей, боявшихся, что скоро все развалится, что система в кризисе и что соперники ждут не дождутся, чтобы нанести удар. Поступательное движение демократии сопровождалось барабанным боем интеллектуальной тревоги. Возможно, все хорошие новости просто слишком хороши, чтобы быть правдой. Возможно, в конце концов демократии все же перестанет везти. Политическая история демократии — это история успеха. Но с ней очень трудно согласовать ее интеллектуальную историю. Последняя озабочена возможностями провала демократии.

Вы можете заметить, что оба этих взгляда на демократию присутствуют и в современном мире. Оптимизма по-прежнему немало. Свержение автократических режимов в Тунисе, Египте и Ливии, стремление людей в этом регионе к реформам — все это несложно встроить в нарратив «конца истории». На это может уйти какое-то время, и это может быть не слишком приятным процессом, но демократия все равно проникает в те области, которые ранее вроде бы ей противились. Это относится не только к арабскому миру. Демократическое правление формируется в большинстве стран Латинской Америки. Оно пускает корни и в некоторых частях Африки южнее Сахары. Есть проблески надежды даже в тех режимах, которые ранее были заморожены, например в Бирме.

Но в то же время мы замечаем повсеместное уныние. На каждый успех можно найти равнозначное поражение: в России, Зимбабве и Таиланде¹. В какой-то мере уныние

¹ Некоторым комментаторам этих поражений достаточно, чтобы сложить рассказ об упадке демократии в противовес рассказу о «конце истории». См., например: [Kurlantzick, 2013].

это распространяют комментаторы, предупреждающие о том, что события в Северной Африке и на Ближнем Востоке на самом деле не то, чем кажутся. Падение авторитарного режима под натиском народных протестов не обязательно предвещает пришествие демократии — порой оно означает всего лишь приход очередной авторитарии или же начало гражданской войны. Но здесь есть и другой повод для тревоги, связанный с недавними успехами основных демократических стран, где демократия давно утвердилась. Ведь хотя верно, что последнее столетие выдалось для них неплохим, этого нельзя сказать о последнем его десятилетии. Многие ведущие демократические страны приняли участие в долгих и сложных войнах (в Ираке и Афганистане), в которых они, вероятно, не знают, как победить, и из которых не могут выйти, не потеряв лица. Большинство западных демократий набрали долгов, что отчасти связано с этими войнами, но также с глобальным финансовым кризисом, которому они в изрядной мере способствовали. В Европе некоторые из этих стран приблизились к дефолту, и есть опасения, что и США идут той же дорогой. Ни одна демократия не смогла по-настоящему разобраться в том, что делать с изменением климата и делать ли что-то вообще. Кроме того, все эти демократические страны наблюдали — одновременно с ужасом и смирением — за подъемом Китая, который кажется неотвратимым. Таковы четыре фундаментальных вызова, с которыми может столкнуться любая система правления: война, государственные финансы, экологическая угроза и наличие вероятного конкурента. И не ясно, насколько хорошо авторитетные демократии справляются с той или иной из этих проблем.

Так что возникает своего рода загадка. История показывает, что демократии могут справиться с любыми напастями. Но теперь даже самым успешным демократиям с большим трудом удается справляться со своими пробле-

мами. Кажется, что дела обстоят из рук вон плохо, но при этом история демократии учит, что не всё так плохо, как кажется. Вот почему нам так сложно понять, насколько серьезно нужно относиться к сегодняшнему кризису демократии. Мы даже не можем быть уверены в том, что это вообще кризис. Так есть у нас проблемы или нет? Эта книга о том, как нам следует относиться к этому вопросу. Я полагаю, что проблемы у нас есть, но не по тем причинам, которые обычно приводятся. Реальная проблема в том, что демократия попала в ловушку собственного успеха.

Когда начинаешь думать о перспективах демократии, неизбежно возникает желание, как это часто бывает в политике, занять ту или другую сторону. Кажется, что мы имеем дело с вопросами в стиле «или-или». К каким новостям нам следует прислушиваться — плохим или хорошим? Прав был Фукуяма или же ошибался? Близок ли конец Америки или же, наоборот, пессимисты будут посрамлены и на сей раз, как это всегда бывало в прошлом? Действительно ли демократией восхищены там, где ранее ничего подобного не наблюдалось, а там, где она какое-то время существовала, от нее устали? Если вы оптимист, долгосрочные выгоды демократии перевешивают краткосрочные сбои в ее работе. Но если вы пессимист, то наблюдаемые проблемы опровергают эту долгосрочную историю успеха. Многое зависит от того, что считать «долгим сроком». Плохое десятилетие — всего лишь небольшое отклонение на фоне хорошего столетия. Однако 100 хороших лет — всего лишь отклонение на фоне 2000 лет — если считать с Древней Греции и до середины XIX в., — когда демократию не принимали всерьез, считая ее плохой системой. Критики демократии на протяжении всего этого периода говорили, что демократия в итоге все равно развалится из-за своей любви к кредитам и быстрым результатам, а также склонности ввязываться во внезапные и глупые войны.

В этой книге я хочу показать, как эти две истории демократии совмещаются друг с другом. Вопрос не в том, чтобы выбрать одну из них. Как и не в том, чтобы расщепить проблему на ряд более мелких, чтобы говорить уже не о демократии в целом, а только об отдельных демократиях в конкретные времена и в конкретных местах, демократиях успешных и неудачных. Я все-таки хочу говорить о демократии вообще. Ошибка — думать, что новости о демократии должны быть либо хорошими, либо плохими. Когда речь идет о демократии, хорошие и плохие новости подпитывают друг друга. Успех и провал идут рука об руку. Это и есть ситуация демократии. Она означает, что триумф демократии — это не иллюзия, но и не панацея. Это ловушка.

Факторы, которые позволяют демократиям добиваться со временем успеха, — гибкость, изменчивость, быстрая реакция, свойственная демократическим обществам, — все они в то же время сбивают их с толка. Они порождают импульсивность, недалекость, историческую близорукость. У успешных демократий есть слепые пятна, толкающие их к катастрофе. Вы не можете воспользоваться выгодами демократического прогресса, не пострадав в то же время от негативных последствий демократического самотека. Успехи демократии за последние 100 лет не привели к созданию более зрелых, прозорливых и понимающих самих себя демократических обществ. Демократия одержала победу, но не смогла повзрослеть. Достаточно просто оглянуться вокруг. Демократическая политика осталась такой же инфантильной и порывистой, как и всегда: мы выясняем отношения, ноем, отчаиваемся. В том положении, в котором мы очутились, это одна из вещей, которые особенно сбивают с толку. Все накопленные нами исторические свидетельства о преимуществах демократии, похоже, не сделали нас умнее в том, как, собственно, использовать

эти преимущества. Напротив, мы продолжаем совершать одни и те же ошибки.

В этой книге я рассматриваю отдельные критические моменты в истории современной демократии и пытаюсь показать, почему мы совершаем одни и те же ошибки, даже если продолжаем двигаться вперед. Кризисы часто воспринимаются в качестве моментов истины, когда мы наконец-то начинаем понимать, что же по-настоящему важно. Однако демократические кризисы другие. Это моменты предельной путаницы и неопределенности. Не видно ничего. Преимущества демократии не становятся яснее; они остаются перемешанными с ее недостатками. Демократии бредут от одного кризиса к другому, нащупывая свой путь впотьмах.

Однако именно эта способность выбираться кое-как из кризисов дает демократии преимущество перед ее автократическими соперниками. Демократии переживают кризисы с бóльшим успехом, чем любая альтернативная система, поскольку они могут приспособливаться. Они не перестают искать решения, даже если продолжают совершать ошибки. Однако избегать кризисов демократии умеют ничуть не лучше своих соперников, они не превосходят автократии в умении учиться у конкурентных систем. Возможно и то, что определенные типы автократических режимов усваивают уроки быстрее, особенно когда требуется избежать ошибок прошлого. (Автократии обычно ошибаются в своем предположении, будто будущее будет похожим на настоящее.) Пережив кризис, демократические общества становятся самоуверенными, а не мудрыми: демократии усваивают лишь то, что они могут пережить собственные ошибки. Однако это может привести к их краху, если они совершат слишком много ошибок. Мы еще не достигли конца истории. Но не потому что Фукуяма ошибался, а по ряду причин, подтверждающих его правоту.

Мысль о том, что успех и неудача идут рука об руку, относится не только к демократии. Это характеристика человеческого бытия в целом. Это сущность трагедии. Гордыня может сопутствовать любому виду человеческих достижений. Самые одаренные люди часто переоценивают себя. Большие знания не являются залогом самопознания: умные люди совершают ужасные глупости. То, что относится к отдельным людям, относится также и к политическим системам. Империи также переоценивают себя. Успешные государства наглеют, упиваясь своими успехами, и становятся самодовольными, когда полагаются на прошлые заслуги, которые должны указать им выход из сегодняшних затруднений. Великие державы приходят в упадок и разваливаются.

Однако трудности демократии невозможно свести к обычной человеческой трагедии, они не составляют часть великого цикла политического упадка и распада. Демократии страдают от гордыни особого рода. В Древнем Риме за вождями-триумфаторами, входящими в город, шли рабы, которые шептали им на ухо, что они тоже смертны. Демократии ничего подобного своим героям не шепчут, потому что им это не нужно. Успешным демократическим политикам и так постоянно напоминают об их смертности. Им вообще трудно от нее отвлечься: в демократии чаще можно стать предметом поругания, чем поклонения. Ни один демократический политик не может пробиться наверх, не привыкнув к улюлюканью толпы. Вот почему в демократии нет такого человека, для которого провал оказался бы неожиданным. Когда демократические политики становятся самодовольными, это происходит потому, что они привыкают к шепоту, который говорит им об их смертности, а не потому, что они отгораживаются от него. Автократы — вот кого события застают врасплох.

Образец современного автократа, столкнувшегося с улюлюканьем толпы, явил собой Николае Чаушеску,

вышедший на балкон здания Центрального комитета в Бухаресте 23 декабря 1989 г., за три дня до того, как его вместе с женой казнила расстрельная команда. Он выглядел по-настоящему озадаченным: что это за шум такой? Ни один демократический политик не может показаться настолько удивленным. Облик демократического самодовольства совершенно иной. Его являет, к примеру, лицо политиков, занимавших определенный пост и потерявших его в день выборов (можно вспомнить о Джордже Буше-старшем в 1992 г.). Они выглядят не удивленными, а уязвленными. Кажется, что они говорят: «Да, я слышал, что вы меня постоянно ругали. Как я мог этого не слышать? Я же читаю газеты. Но это и есть демократия. Я не понял, что вы говорили всерьез». Такой облик — одна из причин того, почему демократическая жизнь чаще оказывается комической, чем трагической.

То, что относится к отдельным политикам, применимо также и к демократическим обществам. Современную Америку порой сравнивают с императорским Римом, поскольку у нее есть некоторые внешние признаки империи, лучшие дни которой уже позади. Однако США — это не Рим, поскольку, будучи империей, они представляют собой еще действующую современную демократию. Из-за этого они слишком безрассудны, нетерпеливы, сварливы и самокритичны, чтобы претендовать на позднеимперский декаданс. Демократии едва ли могут забыть о нависшей угрозе катастрофы. Скорее, они излишне чувствительны к ней. Один из отличительных признаков современной американской демократии — она постоянно задается вопросами о своих перспективах выживания. Проблема таких демократий не в том, что они не слышат шепота, говорящего им об их смертности. Она в том, что они слышат его так часто, что не могут понять, когда принимать его всерьез.

В успешных демократиях много институциональных барьеров, препятствующих гордыне индивидов. При автократии же всегда есть опасность, что безумный или охваченный манией величия лидер подведет страну к краю пропасти. В демократии безумному лидеру или безумной идее закрепиться намного сложнее. Демократии, прежде чем подойти к пропасти, могут прогнать безумных лидеров путем выборов. Регулярные выборы, свободная пресса, независимая судебная система и профессиональная бюрократия — все это не позволяет худшим видам личных заблуждений утянуть за собой все общество. В долгосрочной перспективе ошибки в стабильной демократии оказываются некатастрофичными, поскольку они просто не закрепляются. Но это не мешает демократиям совершать ошибки; скорее это даже подстрекает их к ним. Демократия утешается знанием, что зло не задержится надолго; но это не дает ответа на вопрос, что делать в кризис. Кроме того, такое утешение может само привести к благодущию. Знание о том, что мы защищены от худших последствий гордыни, может порождать в демократиях беспечность (разве может вообще случиться что-то по-настоящему плохое?), а также медлительность — почему бы не подождать, пока система не скорректирует сама себя? Вот почему кризисы не прекращаются.

Первым, кто выявил особенность демократической гордыни, указав на ее связь с динамизмом демократических обществ и инерцией, сопровождающей их способность к приспособлению, был Токвиль. С него начинается история, которую я хочу рассказать здесь. С тех пор, как почти 200 лет назад Токвиль написал свою книгу, люди постоянно спорят о том, кем он был в своих рассуждениях о демократии — оптимистом или пессимистом. Дело в том, что он одновременно был и тем и другим. Причины для демократического оптимизма у Токвиля выступали в то же время главным источником его беспокойства

за демократию. Именно это сделало его столь оригинальным мыслителем в свое время, и именно это определяет его важность для нас. Он не разделял ни опасений традиционных критиков демократии, ни надежд ее тогдашних сторонников. В введении я объясняю, чем примечателен подход Токвиля и почему он выступает важнейшим ориентиром, позволяющим разобраться в том, как связаны между собой демократия и кризис.

Затем я рассматриваю ряд кризисов демократии, которые случились за последние 100 лет, чтобы изучить, как работоспособные демократии справляются с кризисами, и понять, чему они на них учатся. Я решил изучить семь критических лет, более или менее равномерно распределенных по этому периоду: 1918, 1933, 1947, 1962, 1974, 1989, 2008 гг. Этот список не претендует на исчерпывающий характер. У современной демократии были и другие критические точки: 1940, 1969 и 2001 гг. Также было немало лет, которые в те времена казались кризисными, но потом выветрились из памяти. Это один из отличительных признаков демократической жизни, подмеченных Токвилем: она проходит в едва ли не постоянном состоянии кризиса, а потому в ней так сложно понять, когда кризис надо принимать всерьез. Выбранные мной кризисы в какой-то мере отражают эту неопределенность и предвещают ту, что мы ощущаем сегодня. Вот почему я, к примеру, не пишу о 1940-м годе, который для современной демократии был, возможно, наиболее суровым кризисом, когда под угрозой оказалось само ее существование, когда проблема заключалась не в неопределенности, а в недвусмысленной опасности уничтожения. Годы 1968 и 2001 — каждый по-своему — тоже были годами однозначных решений. Изучаемые мной кризисы составляют цепочку, в которой вырисовываются определенные закономерности. Это история неопределенных страхов, упущенных возможностей и нечаянных триумфов. Это повесть о случайности и сумятице.

Тем не менее, несмотря на всю эту неопределенность, каждый кризис, о котором я пишу, был настоящим. Все это были важные моменты, когда на кону стояло очень многое. Изучая, как устоявшиеся демократии справились с этими кризисами, я ищу параллели с Токвилем и связь с настоящим. Моя цель в том, чтобы понять, как мы дошли до нашего состояния. Затем в последней главе я говорю о том, куда мы, возможно, движемся. Я не предлагаю никаких простых решений, позволяющих выйти из нашего теперешнего положения. Мы попали в ловушку. Если бы из нее был простой выход, это не была бы ловушка. Но для того чтобы понять, что, возможно, уготовано нам в будущем, очень важно выяснить, как мы в эту ловушку попали.

Два последних замечания. Эта книга посвящена тому, как устоявшиеся демократии справляются с кризисами. В ней не обсуждается то, как общества становятся демократическими, или же то, что происходит, когда демократии возвращаются обратно к автократии. Существует немало работ, посвященных так называемому демократическому переходу, и политологи заметно продвинулись в понимании того, как он происходит. Мне же интересно, что происходит с обществами, которые завершили переход к демократии, но при этом все равно попадают в кризисные ситуации. По этой причине основное внимание в моей книге уделяется США и Западной Европе, особенно в обсуждении первых кризисов, выбранных мной. В первой половине XX в. существовало слишком мало стабильных демократий. По мере распространения демократии расширяются и границы рассказываемой мной истории, включая стабильные демократии в других частях света, в том числе в Индии, Израиле и Японии. Тем не менее в центре внимания все равно остаются США. Именно изучая Америку, Токвиль первоначально выявил двусмысленный характер демократического прогресса. США оста-

ются тем местом, где увидеть его проще, чем где-либо еще. Я, как и Токвиль, не имею в виду, что Америка — это и есть демократия, и не говорю, что демократия может строиться только по американскому образцу. Однако если американский образец придет в негодность в силу собственного успеха, это будет означать очень многое и для всех остальных демократических стран.

Эта книга сочетает в себе политическую и интеллектуальную историю. Меня интересует то, как демократическим обществам удалось справиться с кризисами и что писали и говорили о кризисах, когда они, собственно, случались. Мнения имеют значение: то, что люди думают о силах и слабостях демократии, в некоторой степени определяет успехи демократии на практике. Например, если все придерживаются в целом мнения, что демократии склонны к панике, во время кризиса могут приниматься стратегии, которые будут отличаться от тех, что принимаются при всеобщей вере в то, что демократии собраны из рациональных агентов. Данная книга не является трудом по политологии. Однако последняя дает основания для некоторых мнений о демократии, встречающихся у людей, и она играет важную роль в истории, которую я хочу рассказать. О том, как демократии добиваются успеха и почему, мы знаем сегодня намного больше прежнего. Проблема в том, что мы не знаем, что нам делать с этим знанием.

ПРИМЕЧАНИЕ О ТЕРМИНОЛОГИИ

В этой книге я использую базовое различие между «демократией» и «автократией», следуя общепринятым представлениям. Под демократией я понимаю любое общество с регулярными выборами, относительно свободной прессой и открытой конкуренцией за власть. Такие общества часто именуются «либеральными демократиями», хотя одни из них либеральнее других. Под автократией

тием я имею в виду любое общество, в котором руководители не выходят на открытые выборы и где свободное движение информации подлежит политическому контролю. Строго говоря, автократия означает самостоятельное правление одного-единственного человека, хотя в некоторых случаях правящие индивиды составляют небольшую клику обладателей власти (например, греческая военная хунта 1964–1974 гг., известная также как «режим полковников», характеризуется политологами, проводящими общие сравнения между демократиями и антидемократиями, как автократия). Некоторые автократии являются диктатурами, но не все. Некоторые авторитарнее других. Там, где это необходимо, я все эти различия уточняю.

Современная политология обычно изображает переход от автократии к демократии в виде континуума с обширной срединной зоной, где некоторые ключевые различия смазываются (например, в случае авторитарных государств, в которых регулярно проходят выборы). Такие «гибридные» режимы я обсуждаю в последней главе. В целом, однако, я придерживаюсь базового противопоставления демократии и автократии и основных различий между ними. Это согласуется с мнением большинства рассматриваемых авторов, начиная с Токвиля, использовавшего «демократию» в качестве всеобщего понятия. Впрочем, у Токвиля главное противопоставление — между «демократическими» обществами и «аристократическими», т.е. между обществами, в которых утвердился принцип равенства, и теми, где он, наоборот, не утвердился. Некоторые следствия этого противопоставления я обсуждаю в следующих разделах.

Но в других отношениях у Токвиля очень часто неясно, что он имеет в виду под демократией. Он использовал этот термин то в одном смысле, то в другом, иногда для обозначения способа ведения политики, иногда для комплекса политических и моральных принципов, а

в иногда и для формы совместной жизни. Я не собирался вслед за ним сохранять эту неопределенность, но попытался сделать этот термин открытым и гибким. Отличительным признаком современной идеи демократии является ее адаптивность. Она может сочетаться с политикой в разных ее формах — как иерархических, так и инклюзивных; она может идентифицироваться как с лидерами, так и с самими гражданами; она может сочетать эгалитаризм с многочисленными формами неравенства. В этой книге я отношусь к демократии как некоей узнаваемой сущности. Но порой я использую это слово в отношении отдельных политических деятелей (таких, как Франклин Делано Рузвельт или Джавахарлал Неру), в других случаях — институтов (выборов, свободной прессы), наконец, в-третьих — общего умонастроения (нетерпеливости, рассеянности). При этом я надеюсь, что везде будет ясно, о чем идет речь.

Введение

Токвиль: Демократия в кризисе

КОГДА в мае 1831 г. молодой французский аристократ Алексис де Токвиль прибыл в Америку, его не слишком впечатлило то, что он там обнаружил. Главной целью его путешествия было написание книги о тюремной системе этой страны, но также он хотел увидеть собственными глазами, на что похожа демократия в действии.

Токвиль сошел с судна в Нью-Йорке, и как это часто случалось с теми, кто посещал Америку впервые, почувствовал себя совершенно ошеломленным и дезориентированным. Там было слишком много всего. Никто не останавливался, чтобы подумать о том, что он делает. Никто ни за что не отвечал. Вскоре он написал своим французским друзьям о том, что подвижность американской жизни приводит его в подлинное изумление: «Здесь замечаешь полное отсутствие какого-либо духа непрерывности и долговечности» [Tocqueville, 1985, p. 56]. Американцы, с которыми он встречался, были достаточно дружелюбны, но они поражали его своей беззаботностью и нетерпеливостью. Его чрезвычайно удивила та легкость, с которой они меняли свои дома, места работы, свое положение. Его также оттолкнула хаотичность американской политики, в которой, похоже, отражалась эта неугомон-

ность. Казалось, что у выборных политиков Америки не больше понимания цели движения, чем у избирателей. Подобно большинству людей своего класса и своего поколения Токвиль был немного снобом. То, что он обнаружил в Америке, согласовывалось с его инстинктивным недоверием к демократии. В ее бездумной энергии было нечто детское. Где же дисциплина? Где достоинство? Если это и была демократия в действии, он не понимал, как она могла работать.

Токвиль, однако, был необычным снобом: у него была способность менять свои убеждения. Когда он покинул Нью-Йорк и отправился в путешествие по стране, то постепенно начал ощущать, что его первые впечатления были ошибочными. Американская демократия работала. В ней таилась устойчивость и долговечность, заметить которую в повседневных делах было невозможно. У демократического способа жизни были свои сильные стороны, но требовалось терпение, чтобы обнаружить их. В первой книге «Демократии в Америке», опубликованной в 1835 г., Токвиль писал: «Ее недостатки поражают с первого взгляда, а достоинства открываются лишь со временем» [Токвиль, 1992, с. 184]. Ключ к пониманию американской демократии заключался в том, чтобы научиться не принимать ее за чистую монету. Она работала, несмотря на то, что выглядела так, будто не должна работать. Ее преимущества скрывались где-то под поверхностью и проявлялись только со временем.

Это была самая важная вещь, открытая Токвилем в путешествиях: демократия не так плоха, как кажется. Этим определяется его ключевая идея, позволяющая понять современную политику, — и в некотором смысле это вообще самая важная идея современной политики. В любой устойчивой демократии всегда будет разрыв между тем, что вроде бы происходит, и тем, что это значит в долгосрочной перспективе. Демократия кажется простодушной формой

политики, ведь все в ней такое сырое и доступное. Однако долгосрочные преимущества демократии проявляются не сразу. Их невозможно схватить прямо сейчас. Им, чтобы проявиться, требуется определенное время.

До Токвиля никто демократию в таком свете не рассматривал¹. В этом и было его открытие. Продумывая выводы из него, он выяснил, что многие из них наводят на серьезные размышления. Он почувствовал, что скрытые сильные стороны демократии представляют также ее наиболее серьезную слабость, именно потому, что они скрыты. Когда они вам нужны, вы не можете воспользоваться ими. Если попытаться, зачастую все становится только хуже. Однако если отказаться использовать их, демократии могут скатиться к пассивности и самотеку. Демократии попались в ловушку собственного стремления ускорить ход событий и своего инстинкта, заставляющего выжидать. И между двумя этими умонастроениями не бывает равновесия.

¹ Конечно, в 1830-х годах многие другие французские наблюдатели тоже интересовались американской демократией и тем, что она значила для перспектив демократии в Европе. В этом смысле Токвиль принимал участие в широкой дискуссии. Некоторые французские комментаторы считали, что американская демократия была оклеветана и что у нее есть добродетели, которым могла бы поучиться Франция. Другие же полагали, что ее, внешне заметные, сильные стороны опровергались глубоко укорененными недостатками, прежде всего, сохранявшимся рабством. В этих спорах, как и в похожих спорах в Британии, их участники обычно занимали ту или другую сторону: американская демократия признавалась либо чем-то хорошим, либо чем-то дурным. Уникальной в позиции Токвиля была его способность видеть обе стороны сразу; он предложил свежий взгляд на то, как в американской демократии хорошее сочетается с плохим. О конкурирующих взглядах на Америку в период, когда Токвиль писал «Демократию в Америке», см.: [Craig, Jennings, 2004]. Об интеллектуальных истоках идей самого Токвиля см.: [Jaume, 2013]. О конкурирующих британских позициях по вопросу США в период перед гражданской войной см.: [Foreman, 2010].

Именно это рассуждение делает Токвиля таким оригинальным и важным мыслителем. Он лучше других помогает разобраться в характере демократии. В этом разделе я надеюсь показать, почему это так.

КОНКУРИРУЮЩИЕ ВЗГЛЯДЫ

Токвиль, конечно, был не первым гостем США, решившим, что американская демократия не то, чем кажется. Многие путешественники научились не доверять своим первым впечатлениям. Но лишь потому, что обычно они приходили к выводу, будто американцы лицемерны. Распространенная жалоба на американскую демократию состояла в том, что на самом деле она не соответствует своим замечательным принципам: американцы разглагольствовали о достоинстве и свободе, но, по сути, все они были людьми жестокими, вульгарными и алчными. Многие гости из Европы первоначально приходили в немалое воодушевление, познакомившись с непринужденным и эгалитарным этосом: Америка часто казалась им глотком свежего воздуха. Но чем больше они путешествовали, тем больше приходили к выводу, что это просто показуха. В основе своей Америка, как выяснялось, была материалистическим, эксплуататорским обществом, в котором каждый за себя. Хуже того, невозможно было сбросить со счетов тот факт, что апостолы свободы держали рабов, а если и не держали сами, то терпели то, что их держали другие американцы. Из-за рабства американская демократия представлялась посмешищем.

Десятилетием позже более типичное, чем у Токвиля, путешествие в Америку было предпринято другим молодым европейским писателем, Чарлзом Диккенсом. Диккенс не был снобом, а к демократии испытывал инстинктивную симпатию. Сначала он просто обожал Америку, особенно потому, что американцы, судя по всему,

обожали его. Его приветствовали как человека родственного духа, который в своих романах защищал бедных и угнетенных. (Токвиля тоже чествовали, когда он приехал впервые, но он принял это за признак неосведомленности американцев, поскольку во Франции о нем тогда еще почти никто не знал.) У Диккенса энтузиазма хватило ненадолго. Он продолжал путешествовать и постепенно ему надоело внимание, которое ему уделяли, как и тот факт, что, несмотря на все свои прекрасные чувства, американцы на самом деле не были заинтересованы в том, чтобы жить в соответствии со своими высокими идеалами. Чем больше он знакомился с ними, тем больше обнаруживал у них дурные манеры и самодовольство. Также он понял, что они его обирают, поскольку довольно мягкие американские законы об авторском праве позволяли публиковать его романы в пиратских изданиях. В двух книгах, посвященных своим американским впечатлениям, в «Американских заметках» (1842) и романе «Мартин Чезлвит» (1843–1844), Диккенс дал ясно понять, что почувствовал себя так, словно его предали. Он высмеял лицемерие американцев и раскритиковал их терпимость к рабству.

В интеллектуальном путешествии Токвиля необычно то, что оно пошло в противоположном направлении. Токвиль ненавидел рабство не меньше Диккенса. Но он не сделал вывод о лицемерии американцев. Напротив, он стал думать, что отличительным качеством американской демократии является ее искренность. Один из главных эпизодов в его путешествии произошел 4 июля, когда он со своим попутчиком Гюставом Бомоном прибыл в Олбани, новую столицу штата Нью-Йорк, где они приняли участие в праздновании Дня независимости. Токвиль считал церемонию довольно смешной — со всеми ее марширующими оркестрами и торжественными речами. Зрелище этого провинциального самодовольства изрядно на-

смешило его. Но когда вечером начались публичные чтения Декларации независимости, он к своему удивлению заметил, что это его глубоко тронуло. «Словно бы через каждого присутствующего пробежала электрическая искра. Это было совсем не похоже на театральное представление... Там было нечто по-настоящему прочувствованное и поистине великое» (цит. по: [Jardin, 1989, p. 118]). Демократия в Америке не была фикцией. Скорее, это была подлинная религия.

Вера была главным звеном американской демократии. Система работала, поскольку, как решил Токвиль, люди в нее верили. Они верили в нее, несмотря на то, что она выглядела так, словно не должна работать; временами она казалась полной неразберихой. Демократия была спонтанной формой политики, бессистемной, нескоординированной, порой смешной, но все же почему-то не сбивавшейся с пути. Американцы худо-бедно решали свои проблемы, сохраняя веру в будущее. Но это была не слепая вера. Время показало, что американская демократия приносит плоды и что беспорядочность демократической жизни обладает кумулятивной силой, с которой не может сравниться ни одна соперничающая с ней система. Токвиль писал, что у демократии «каждая вещь в отдельности получается <...> хуже, но в целом она делает значительно больше». Далее он продолжает:

Демократия — это не самая искусная форма правления, но только она подчас может вызвать в обществе бурное движение, придать ему энергию и исполинские силы, неизвестные при других формах правления. И эти движения, энергия и силы... способны творить чудеса. Это и есть истинные преимущества демократии [Токвиль, 1992, с. 192].

Наполовину мистический язык используется здесь неспроста. По словам Токвиля, в том, как работает демократия, есть нечто «неразумное» или «темное». Но он не

имел в виду, что демократия порочна или же представляет собой форму обмана. Он просто хотел сказать, что она не совсем прозрачна. В любой данный момент времени вы не смогли бы понять, как она работает. Но вы можете быть уверены в том, что она и в самом деле работает.

Токвиль пришел к мнению, что у американской демократии есть скрытая глубина. И именно это радикально отличает его от других европейских путешественников, которые заиклились на расхождении между обещанием американской демократии и неприглядной реальностью. Но это же выделяло его на фоне 2000-летней европейской политической философии. Традиционная претензия к демократии всегда заключалась в том, что она скрывает собственную пустоту. По мнению философов, под поверхностью демократической жизни скрывается не устойчивость и долговечность, а невежество и глупость. Такое обвинение не ограничивается лицемерием. Демократиям нельзя доверять, поскольку, по сути, они не понимают, что делают.

Платон задал образец этой аргументации, что позволяет объяснить, почему она так долго господствовала в западном политическом воображении. В «Государстве» Платон говорит, что демократия — самый привлекательный из политических режимов, поскольку она «словно ткань, испещренная всеми цветами» [Платон, 1994, с. 344]. Однако эта красочная видимость лишь вводит в заблуждение. У демократии красивый фасад, но гнилое нутро. Другими словами, демократия намного хуже, чем кажется. Демократии хорошо подают себя, но в их тени всегда скрывалось нечто неприятное, а именно сами люди, со всей их жадностью и глупостью.

Проблема в том, что демократия потворствовала желаниям. Она давала людям то, что они хотят изо дня в день, не старалась убедить их желать правильных вещей. У нее не было способности к мудрости, к сложным реше-

ниям или к трудным истинам. Демократии были основаны на лести и лжи. Демократические политики внушали людям то, во что те хотели верить, а не то, что они должны были услышать. По словам Платона, они брали их слабости и рядили их в добродетели. Если люди были плохо дисциплинированы, политики говорили им, что они смелые. Если они были расточительны, политики говорили, что они щедрые. Какое-то время это может работать, как часто бывает с лестью. Но в долгосрочной перспективе это грозит катастрофой, потому что невозможно вечно прятаться от своих слабостей. Через какое-то время что-нибудь да случится, и они предстанут во всей красе. И тогда демократиям придется понять, в чем их истина. Но к тому времени будет слишком поздно. Когда истина настигает демократию, обычно она ее уничтожает.

За два тысячелетия в европейской политической мысли накопилось бесчисленное множество вариаций на эту тему. Демократии считались переменчивыми, слишком доверчивыми, бесстыдными, говорили, что им не хватает самоконтроля. Они набирали долгов, потому что не могли сдерживать свои аппетиты. Они вступали в глупые и опасные войны, поскольку не могли управлять своими страстями. Они влюблялись в новоявленных тиранов, поскольку не могли справиться со своими трусливыми инстинктами. Самое главное, демократия была формой политики, подходящей лишь для хороших времен: во время кризиса она неминуемо разваливается. Она казалась своего рода мошенничеством, не способным вечно откладывать день расплаты. Единственное, что можно было сказать о демократии с уверенностью, так это то, что она не будет длиться вечно. А если вам встретилась демократия, которая существует давно, вы можете быть уверены в том, что на самом деле это не демократия. Такова обратная сторона стандартной критики: подлинные демократии не могли быть успешными государствами, следова-

тельно, успешные демократии не могли быть подлинными демократиями. Где-то в них наверняка скрывался автократический центр.

Токвиль решительно порвал с этим образом мысли. Он не сомневался в том, что Америка была подлинной демократией. И он не думал, что американская демократия хуже, чем кажется. Этого не могло быть при ее очевидных недостатках. Именно внешний облик демократии мешал в нее поверить. Платон назвал демократию наиболее привлекательным политическим режимом. Токвиль считал ее наименее привлекательным режимом, совершенно несравнимым с великолепием и блеском аристократического общества, которое-то как раз знало, как себя подать. Демократиям не хватало дисциплины и достоинства, необходимых, чтобы произвести хорошее впечатление. Так что, конечно, на определенном уровне можно было сказать, что демократии всегда кажутся бардаком. Но философы ошиблись в том, *какой именно* это уровень. Так вещи выглядели на поверхности. Но в глубине происходило нечто совершенно другое.

Сопоставляя внешние промахи демократии с ее скрытыми преимуществами, Токвиль поставил традиционные аргументы ее критиков с ног на голову. Он не принял аргумент в ее пользу, который чаще всего выдвигали ее радикальные защитники. Их аргументация основывалась на том, что главной добродетелью демократии является ее прозрачность. Получалось, что она добивается успеха, потому что ей нечего скрывать. Демократия казалась единственной системой, которая выставляла напоказ, как она работает. Это означало, что она может исправлять свои промахи. Томас Пейн, великий демократический защитник американской и французской революций, сказал об этом так: «Каковы бы ни были ее достоинства и недостатки, они видны всякому. Она существует не за счет обмана или тайны, дела свои ведет не на жаргоне или язы-

ке софизмов». Пейн подчеркивал, что тайные жаргоны и софистика — всецело на другой стороне. Поэтому именно монархия является надувательством. «То, что монархия является исключительно пузырем, простой выдумкой, нужной, чтоб раздобыть денег, очевидно (по крайней мере мне) при взгляде на любое качество, ей приписываемое» [Paine, 2000, р. 181–182]. Враги демократии — вот кому было, что скрывать.

Пейн считал, что демократия добьется успеха, как только люди поймут, освободившись от предрассудков ее противников, что она такое. Когда это случится, они увидят, как на деле функционирует политика. Более того, они выяснят, что единственная вещь, которая работает, — это демократия. Это означает, что существует своеобразная точка отрыва, или порог, после которого возможна истинная вера в демократию. До него ей будет сложно завоевать доверие людей, поскольку они не смогут оценить ее достоинства. И именно на этом отрезке демократия и застряла на 2000 лет. Но после прохождения порога она будет становиться все сильнее и сильнее, поскольку истина политики будет, наконец, явлена. Пейн, писавший в конце XVIII в., был уверен, что мир подошел к этому порогу. Рождался новый порядок. Для описания происходящего он придумал образ, который с тех пор стал одной из излюбленных метафор всех демократических оптимистов. Он писал: «Несложно заметить, что весна началась»².

² К концу зимы 1791–1792 гг. он писал из своего дома: «Близится середина февраля. Если бы я отправился в деревню, деревья предстали бы в своем безжизненном зимнем виде. Люди, бывает, срывают ветки с них, когда проходят мимо, и так же мог бы поступить и я, и, возможно, заметил, как на этой ветке уже начала набухать какая-нибудь одна-единственная почка. Я бы рассудил совершенно противоестественно или даже вовсе отказался бы рассуждать, если бы предположил, что во всей Англии только эта почка дала о себе знать. Вместо того чтобы прийти к подобному выводу, я должен был бы тотчас заключить, что такие же почки начали по-

Токвиль на это не купился. И не потому, что не был согласен с тем, что демократия на подъеме. С этим он как раз полностью соглашался. Однако вера Пейна в то, что скрытые силы демократии со временем будут все заметнее, представлялась ему всего лишь фантазией. Токвиль не уравнивал демократию с прозрачностью. В работе демократии сохраняется нечто непрозрачное, какой бы успешной она ни была, поскольку движущие силы ее успеха никогда не являют себя в полной мере на хаотической поверхности демократической жизни. Пейн хотел, чтобы демократия вступила в эпоху разума. Но Токвиль знал, что эпоха демократии будет строиться на вере. Урок, вынесенный им из путешествий по Америке, состоит в том, что демократия никогда не проявляется в полной мере. В обществе, основанном на демократических принципах, всегда будет разрыв между восприятием и реальностью.

Кроме того, всегда будет сохраняться сильнейшее искушение попытаться устранить этот разрыв. Жить при подлинной демократии трудно, поскольку слишком многое вы должны принимать на веру. Токвиль отвергал общепринятые аргументы как «за», так и «против» демократии, однако он понимал, в чем их привлекательность. Каждый из них обещал вывести демократию на чистую воду: обнажить либо таящуюся в ней силу, либо — слабость. В расхождении между скрытыми силами и видимыми слабостями демократии есть нечто обескураживающее. Мы хотим знать, какая из двух этих версий истинная, каким бы ни был исход. Мы хотим концовки. Гораздо сложнее жить со знанием о том, что такое расхождение

являться или вот-вот появятся повсюду, и хотя растительный сон у некоторых деревьев и растений продлится дольше, а некоторые из них, возможно, в течение двух-трех лет не будут цвести, летом все будет в листьях, за исключением тех деревьев, что сгнили. Но как политическое лето будет соотноситься с природным, человеческому прозрению неведомо» [Paine, 2000, p. 262–263].

является реальностью демократической жизни. Оно ставит совершенно иные задачи.

Токвиль не думал, что демократия является надутельством. Вы можете действительно в нее верить. В этом смысле он соглашался с тем, что демократия преодолела порог доверия. Его тревоги были связаны с тем, что обнаруживалось на другой стороне, после прохождения этого порога. Он боялся того, что вера в демократию окажется ловушкой.

ДЕМОКРАТИЯ И СУДЬБА

Имя, которое Токвиль дал своим страхам, — «фатализм». Он боялся того, что жители демократической страны будут плыть по течению, «предпочтя безвольно подчиниться своей печальной судьбе, нежели признать необходимым и совершить резкое, энергичное усилие с целью переломить ее ход» [Токвиль, 1992, с. 466]. По его мнению, есть две причины, склоняющие демократии к фатализму. Первой являлись очевидные доказательства того, что история на стороне демократии. Пейн был прав: мир и в самом деле двигался к демократии, а это значит, что Америка была впереди этого движения. Токвиль не считал это философской спекуляцией или проявлением тщеславия американцев, но научным фактом. Он писал, что увидеть в демократии судьбоносный процесс несложно: «Для этого нам достаточно наблюдать за привычными природными процессами и улавливать постоянно действующую тенденцию развития событий» [Там же, с. 29]. Тенденция к формированию того, что Токвиль называл «равенством условий», была неумолимой. Традиционные политические элиты были сметены идеей, согласно которой ни один человек не рожден властвовать над другим. Ничто не могло встать на пути у этой идеи, а это в конечном счете означало, что ничто не может встать на пути демократии.

Таков был план, предначертанный самим провидением. «Желание сдержать развитие демократии, следовательно, представляется борьбой против самого Господа», — писал Токвиль во «Введении» к «Демократии в Америке» [Там же, с. 30].

Вторая причина, по которой демократии часто склонялись к фатализму, заключается в том, что это знание об их привилегированной позиции в общем устройстве бытия требовало взгляда со стороны. В краткосрочной перспективе демократия часто выглядела так, словно бы она двигалась в сторону, противоположную историческому прогрессу, — она представлялась неустойчивой, ненадежной, неэффективной. Вы должны были поверить в будущее. Это значило, что несмотря на сильные стороны демократии, вы не обязательно увидели бы их в той или иной политической ситуации. Жить при демократии значило отдалиться силам, недоступным для вашего непосредственного восприятия. Вряд ли было что-то удивительное в том, что люди, поставленные в такие условия, чувствовали себя немного беспомощными. Их судьба находилась в надежных руках, но было неясно, находится ли она в их руках. В действие вступала некая более значительная сила. Успешная демократия обладала таковой, поэтому люди могли чувствовать себя совершенно незначительными.

Однако демократический фатализм не всегда приводил к пассивности и несостоятельности. Если вы знаете, что история на вашей стороне, но вне вашего прямого контроля, вы можете отреагировать двумя способами. Вы можете пожалть плечами и подождать, пока все само не устроится. Либо вы можете отбросить предосторожность, поскольку вы уверены, что будущее гарантировано независимо от того, что вы делаете. Гениальность Токвиля заключалась еще и в том, что он смог увидеть, как демократический фатализм совмещался не только с безрассуд-

ством, но и с безропотностью. Более того, он понял, что иногда между ними трудно провести различие.

Токвиль привел в пример беседу, которая состоялась у него с некоторыми американскими пароходостроителями. Во время путешествий Токвиль не раз поражался тому, насколько хрупкими и опасными были пароходы. Он и Бомон едва не утонули, когда пароход сел на мель на реке Огайо. «Никогда я не слышал более мерзкого звука, — написал он одному другу спустя несколько дней, — чем этот шум воды, устремившейся в судно» [Jardin, 1989, р. 165]. Эту критическую ситуацию он пережил, не потеряв хладнокровия. Но почему же производители судов не делали их более прочными и надежными? «Они ответили, что в таком случае суда служили бы слишком долго, тогда как искусство пароходной навигации каждый день делает новые шаги». Токвиль думал, что эта вера в прогресс как раз и мешала американцам «стремиться к чему-либо долговечному» (цит. по: [Pierson, 1996, 645]). Зачем прилагать лишние усилия, когда за углом нас ожидает кое-что получше? В то же время пароходостроители не были праздными посторонними, наблюдающими с берега реки за потоком мировых событий. Их спокойное равнодушие совмещалось с кипучей энергией. Они спускали свои плохенькие суда на воду, а значит, шли на серьезные риски. Они плевали на свою судьбу и стремились во что бы то ни стало не упустить возможность подзаработать денег. Фаталисты могут быть нетерпеливыми и терпеливыми, активными и пассивными. Один из способов верить в будущее — поступать так, словно оно уже наступило, и надо лишь схватиться за него.

То, что относилось к судостроителям, было верным и для американской демократии в целом. Токвиль писал, что демократический человек является одновременно «пылким и покорным». Демократии могут кидаться из стороны в сторону. О «Демократии в Америке» иногда спра-

шивают, не представляет ли она собой две разные книги: в первой подчеркивается жизнеспособность и энергия американской демократии, а во второй, опубликованной спустя пять лет в 1840 г., намного более мрачной, — ощущение инерции. Но первая и вторая книги попросту отражают две разные стороны демократического фатализма. В первой книге Токвиль обсуждает опасности «тирании большинства», из-за которой демократии становятся нетерпеливыми и мстительными. Приводимые Токвилем примеры этой тирании в действии — линчевание, расовые бунты, упоение войной, — показывают, что он имел в виду моменты, когда демократии выходят из-под контроля, устав ждать, когда же что-нибудь случится. Во второй книге он говорит о «мягком деспотизме общественного мнения», который, будучи еще коварнее, отвращает людей от критики общепринятых идей. Демократии могут не только разбушеваться, но и впасть в спячку.

Однако у обоих исходов одна и та же причина: имеющееся у жителей демократической страны знание о том, что им принадлежит система, скрывающая в себе определенные преимущества. Оно может быть источником ярости. Если демократия — такая великая идея, почему мы не можем предпринять что-то уже сейчас? Но оно также может обескураживать. Почему бы не согласиться на спокойную жизнь, раз наши дела все равно не имеют большого значения? Либо оно может привести к обоим результатам. Пассивные демократии легко возбуждаются; а активные — легко успокаиваются. Демократический фатализм неустойчив по самой своей сущности.

Не все оценили связь между разнузданностью демократической жизни и ее желанием плыть по течению — саму эту идею было не так-то легко понять. Вторая книга получила гораздо более холодный прием, чем первая. Многим рецензентам она показалась слишком абстрактной и парадоксальной. Английский философ Джон Стю-

арт Милль был одним из немногих, кому вторая книга понравилась так же, как и первая. Как и Токвиля, Милля глубоко волновала проблема фатализма. В собственных работах он попытался провести различие между разными формами, которые может принимать фатализм. Есть то, что Милль назвал «чистым фатализмом» (также иногда он называл его «восточным»), который представляет собой веру в то, что высшая сила заранее предназначала все то, что когда-либо должно случиться с нами. Эта идея, по мысли Милля, ведет к оцепенению. Кроме того, существует то, что он назвал «умеренным фатализмом», который представляет собой веру в то, что мы суть продукты наших обстоятельств и что в этом мы ничего изменить не в состоянии. Фатализм такого рода получил распространение в наиболее развитых западных обществах³.

Умеренный фатализм не был глупостью, поскольку современная наука показала, что все мы в определенном смысле являемся продуктом наших обстоятельств: у причин есть необходимые следствия (Милля порой относили к сторонникам учения о строгой необходимости). Также умеренный фатализм не делал людей безусловно покорными своей судьбе, в отличие от чистого фатализма. Милль знал, что фаталисты могут быть как довольными, так и недовольными, как плаксивыми, капризными, так и спокойными, покладистыми. Фатализм мог порождать самодовольство, но также он мог производить раздражительность и непостоянство. Но в обоих случаях он представлял собой опасность. Умеренные фаталисты все же совершали фундаментальную ошибку. Поскольку нас определяют наши обстоятельства, они полагали, что мы

³ Наиболее полное обсуждение разновидностей фатализма у Милля содержится в его работе «Система логики» (1843), в главе «О свободе и необходимости» [Mill, 1974; Милль, 2011, с. 624–630].

бессильны изменить то, кем мы являемся. Однако Милль подчеркивал, что мы все же можем кое-что сделать с этим. Мы можем менять наши обстоятельства.

Когда Токвиль прочитал работы Милля о фатализме, он написал ему, что в них было именно то, что он пытался ухватить, когда писал об американской демократии. Когда же Милль получил вторую книгу «Демократии в Америке», он написал Токвилю, чтобы сказать ему о чувстве облегчения, вызванном тем, что он наконец-то нашел того, кто понимает его озабоченность.

Одно из ваших важнейших общих заключений именно в том, что я едва ли не в одиночку отстаивал до сей поры и не завел, насколько мне известно, ни одного ученика, — в том, что действительная опасность в демократии, действительное зло, с которым надо сражаться и для предотвращения которого не будут лишними никакие человеческие силы и ресурсы, — это не анархия или любовь к переменам, а китайская стагнация и неподвижность [Mill, 1963, p. 433].

Впрочем, демократии на самом деле не страдали от восточного фатализма. Они страдали от его умеренной версии. Они могли быть непостоянными. Но наряду с непостоянством обнаруживалась и тенденция к стагнации. Опасность для демократии состояла в том, что никто не попытался разобраться с глубинными условиями ее политики. Вместо этого каждый цепляется за поверхностную активность политической жизни — за все эти свары и компромат, которые сосредоточивают на себе общую злость и фрустрацию, тогда как в глубине ничего на деле не меняется. В демократии вся энергия обычно направляется на следствия политики, а глубинные причины игнорируются. Именно так демократии зацикливаются.

Как же им выйти из этой колеи? Главное средство от демократического фатализма, как и от любого другого, со-

стояло, по мысли Милля, в обучении. Демократиям нужно вырасти. Фатализм — это, по существу, детское состояние ума, поскольку дети — образцовые умеренные фаталисты: они тратят кучу времени на слезы и кипучую деятельность, но только потому, что, как им известно, от них в действительности ничего не зависит. Они ждут, пока кто-то не возьмет на себя ответственность. Дети вырастают, когда научаются брать ответственность за собственную судьбу. Но от кого они могут научиться? Милль говорит, что родители и учителя показывают нам, «как влиять на наш характер с помощью подходящих обстоятельств». Проблема в том, что у демократий нет родителей или учителей, по крайней мере их не должно быть. Это монархиями правят фигуры, воплощающие в себе отца. Демократии должны управлять собой сами. Риск демократии заключался в том, что, позволив кому-либо играть роль родителя или учителя, они могут отказаться от ответственности за свои обстоятельства. Этого Токвиль и боялся. Он писал: «Я думаю, что правители их будут не столько тиранами, сколько их наставниками» [Токвиль, 1992, с. 496].

Проблема была еще и в том, чему учить демократию. Токвиль опасался, что, если просто объяснить людям истину политического развития, это укрепит их в фатализме, поскольку факты указывали на неумолимый прогресс демократии. Поэтому Токвиль считал, что демократическим обществам нужна здоровая доза религии, без которой они не могут сохраниться: демократии лучше всего подходит, когда у индивидов есть личная вера, способная подкрепить общие истины науки о политике. Это означало, что светская история особенно опасна для демократий. Историки в эпоху демократии часто заражались тем, что Токвиль назвал «доктриной фатальности» (*fatalité*): «Они не удовлетворяются поиском логики происходившего; им доставляет удовольствие их собственная спо-

способность убедить читателя в том, что ничего другого и не могло произойти» [Токвиль, 1998, с. 367]. Демократиям же нужно было как раз ощущение того, что у них открытое будущее и что их решения все еще имеют значение. Единственный, вне религии, способ добиться такого ощущения — сделать так, чтобы у решений действительно были реальные следствия. Из книг этому научиться нельзя. Демократии должны были учиться на опыте.

Лучший способ научиться на опыте — это делать ошибки. Милль и Токвиль считали, что главная часть обучения состоит в свободе экспериментирования и, если нужно, совершении ошибок. Однако одно дело — сказать какому-то человеку, что он может совершать ошибки, и совсем другое — сказать то же самое политическому обществу. Когда политика ошибается, последствия могут стать катастрофой для всех. Демократии могли бы извлекать пользу из того, что индивиды рискуют и совершают ошибки, поскольку это лучший способ сохранить открытость политики новым идеям. Однако когда рискуют и совершают ошибки демократические общества в целом, именно на долю индивидов выпадают страдания. Кроме того, когда демократии делают что-то не так, часто у них нет пути назад.

Токвиль очень хорошо это осознавал, как и то, чем определялось уникальное место США в истории человечества. Американская демократия могла позволить себе ошибаться. «Огромное преимущество американцев состоит в том, что они могут себе позволить совершать поправимые ошибки», — писал он [Токвиль, 1992, с. 185]. Америка была достаточно большой и изолированной от остального мира, чтобы ее ошибки в политике не приводили к катастрофам. У нее было достаточно времени и пространства, чтобы возместить любой ущерб. Но не так обстояли дела в Европе, где давление со стороны населения и соперничество между государствами превраща-

ли демократию, которая попыталась бы учиться на собственном опыте, в легкую жертву для конкурентов. То же самое относилось и к Южной Америке, где ни одна демократия не продержалась достаточно долго, поскольку одной ошибки хватало для фатального исхода. Только США могли экспериментировать с демократией, не боясь последствий.

Однако проблема для американской демократии заключалась в следующем: знание о том, что она может совершать поправимые ошибки, опасно сближалось с тем представлением, что ошибки не имеют значения. Токвиль увидел, что здесь имеется моральный риск. Если вы не боитесь последствий своих решений, как вы можете научиться принимать их всерьез? В этом и состояло различие между Европой и Америкой. Европейцы не могли ставить на демократию, поскольку боялись последствий. Как сказал Токвиль, европейское государство могло быть по-настоящему уверенным, что его демократическое устройство сохранится, только в том случае, если каждое европейское государство станет демократией. Пока этого не случится, европейцы так и не смогут перешагнуть порог доверия, опасаясь довериться демократии. Однако американская демократия, которая перешла этот порог доверия, оказалась в ином положении. Она была готова застрять на уровне детского умонастроения, поскольку ничего действительно плохого никогда не случалось. Так или иначе, американцам нужно было по-настоящему испугаться. С момента кризиса, которым сопровождалось ее рождение, американская демократия никогда не сталкивалась ни с одним настоящим кризисом. «У американцев нет соседей, — писал Токвиль, — поэтому им не угрожают крупные войны, финансовые кризисы, опустошения и завоевания» [Токвиль, 1992, с. 214]. Это было их самое большое преимущество. Но это же было их величайшей слабостью.

ДЕМОКРАТИЯ И КРИЗИС

Токвиль не был вполне уверен в том, чего пожелать американской демократии. Он хотел, чтобы она взяла на себя ответственность за свою судьбу. Но он знал, что демократия в Америке расцвела в основном потому, что долгое время ничего подобного не случалось. Американцы в течение нескольких поколений могли избегать по-настоящему трудных решений. В итоге Токвиль не знал, что думать о последствиях будущего кризиса американской демократии. Кризисы могут пойти демократии на пользу, если заставят ее задуматься о положении, в котором она находится, если они побуждают людей взять ответственность за свою судьбу. Однако они могут принести демократии вред, если подрывают веру в будущее, сея панику и страх. Кризис — это по определению опасное время. И если вы пожелаете демократии кризиса, который будет достаточно серьезным, чтобы она смогла отнестись к своим решениям соответственно, вы рискуете поставить перед ней задачу, которую она не сможет выполнить.

Простого способа обойти эту проблему не существовало. Кризис, достаточно тяжелый, чтобы принести пользу демократии, мог также оказаться достаточно тяжелым, чтобы причинить ей реальный ущерб. Проблема осложнялась тем, что кризисы — это моменты опасности, но демократии в такой ситуации не всегда показывают одинаково хорошие результаты. В эти моменты как раз и обнаруживаются их слабости. Демократиям намного сложнее, чем другим системам правления, координировать свои действия на краткосрочном этапе: разбросанность и непостоянство демократической жизни осложняют выработку своевременных решений. Аристократии, по словам Токвиля (который подразумевал под ними неэгалитарные или авторитарные режимы), гораздо лучше умеют концентрировать свои ресурсы в короткие промежутки вре-

мени; тогда как в демократии, напротив, всегда есть нечто «несвоевременное». В этом смысле, аристократии лучше справляются с неотложными требованиями политики в критический момент, т.е. показывают лучшие результаты в плане скорости и решительности. Желать демократии кризиса, дабы он вывел ее из оцепенения, — значило требовать от нее решить задачу, которая на руку ее конкурентам. Разве это может быть хорошей идеей?

Однако она могла бы сработать, если бы кризис оказался достаточно долгим. В таком случае преимущества демократии получали возможность проявить себя. Хотя аристократические общества хороши в принятии быстрых решений, они вскоре на них зацикливаются. Они плохо приспосабливаются. Демократии, поскольку они всегда делают больше, постоянно экспериментируют и не прекращают движения, в долгосрочной перспективе показывают лучшие результаты, так как находят разнообразные способы отвечать на сложные вызовы. Демократии, если у них есть время, могут, приспособившись, выкарабкаться из кризиса, на что неспособна автократическая система. Но имеет ли смысл желать демократии такого длительного кризиса? Здесь есть две проблемы. Одна в том, что в слишком затянувшихся кризисах немало опасных моментов. В конце концов, это кризисы, с которыми непонятно что делать: чем дольше они длятся, тем оставляют больше возможностей для того, чтобы случилось нечто действительно плохое. В долгих кризисах достаточно места для краткосрочных катастроф. Вторая проблема в том, что кризисы должны стряхнуть с демократий их фаталистические тенденции. Но если они длятся долго, существует риск, что демократии снова начнут просто плыть по течению, дожидаясь, пока их спасет история.

Следы нерешительности Токвиля в этих вопросах можно усмотреть в его трактовке перспектив демократии,

находящейся в состоянии войны. Токвиль говорит, что демократическим странам следует вступать лишь в войны определенного типа — в долгие, сложные и напряженные. Только в таком случае демократические преимущества приспособляемости и подвижности выходят на первый план. Токвиль считал, что в международных отношениях демократии плохо справляются с вызовами, требующими немедленной реакции: они нетерпеливы, капризны, слишком быстро идут в атаку, но также готовы пустить все на самотек. В результате они, по его мнению, обычно уклонялись от войн, в которые должны были вступить, и участвовали в войнах, от которых им следовало уклониться. Аристократические общества намного лучше знают, когда и как вступить в битву. Но как только борьба начинается, аристократии обычно увязают в ней. Они слишком негибкие. «Аристократический народ, сражаясь против демократической нации, сильно рискует оказаться побежденным ею, если ему не удалось разгромить ее в результате первых же боевых операций», — предсказывал Токвиль [Токвиль, 1992, с. 476].

В демократиях присутствует живучесть и страсть к экспериментам, которая делает их подходящими кандидатами для длительного состязания. Помимо всего прочего, они постоянно меняют своих военных руководителей, пока не найдут тех, кто способен решить задачу. Они не помешаны на традициях и репутации. (Хотя одна из проблем демократии в том, что они часто действительно зацикливаются на репутации после того, как кризис миновал: у них обнаруживается тенденция награждать своих прославленных воинов политическими должностями.) Но даже долгие войны представляют для демократий определенные проблемы. Демократии не знают, когда вступить в битву, точно так же, как они не знают, когда остановиться. «Демократическим народам всегда будет трудно делать

две вещи: начинать войну и заканчивать ее», — писал Токвиль [Токвиль, 1992, с. 469].

Токвиль не мог быть уверенным в том, что такой демократии, как США, по-настоящему серьезная война принесет пользу. Всегда сохранялся риск, что краткосрочные слабости действующей демократии окажутся фатальными. К тому времени американская демократия успела поучаствовать лишь в одной крупной войне, в Войне за независимость, но выводы из нее остались неопределенными⁴. США выиграли войну с аристократическим противником, но победа была недалеко от ничьей. Кроме того, как писал Токвиль, «пока она [война] длилась, проявлялся и привычный эгоизм». Деньги перестали поступать в казну; а на службу в армию стало являться меньше добровольцев. Войны, особенно долгие, опасны потому, что они порождают фатализм, равно как и его неприятие. В результате, по словам Токвиля, «трудно сказать, на какие действия способно демократическое правительство в период национального кризиса». Это может зависеть не только от длительности кризиса, но также от того, в какой мере люди желают связывать свою судьбу с судьбой их страны.

Чтобы оценить, на какие жертвы способны демократические страны, нужно дождаться момента, когда американский народ будет вынужден отдать в руки своего правительства половину своего дохода, как в Англии, или будет должен бросить на поле сражения двадцатую часть населения своей страны, как это было во Франции [Там же, с. 178].

⁴ После этого США участвовали в ряде более мелких войн, включая еще одну войну с Британией в 1812 г. Токвиль следует за сложившимися после этой войны историческими представлениями, принося ее значение. Противоположный взгляд, утверждающий, что конфликт 1812-го года был важным событием в историях обеих стран, участвовавших в войне, см.: [Bickham, 2012].

Это время наступило скорее, чем Токвиль мог себе представить.

Желать демократии длительного кризиса, чтобы она продемонстрировала свои преимущества, само по себе было опасным. Но была другая проблема с представлением о том, что кризис может пробудить в демократии ее сильные стороны. Демократиям очень сложно понять, когда у них начинается настоящий кризис. И причина была не в том, что они стремятся забыть об опасности. Напротив, они слишком чувствительны к ней. Безопасное положение США не помешало американцам относиться к каждой незначительной драме так, словно это кризис. В демократиях всегда полно людей, считающих, что катастрофа не за горами. Свобода слова включает и свободу паниковать безо всякой на то нужды. Как понял Токвиль во время своего путешествия по Америке, демократическая жизнь — это цепочка кризисов, которые, как выясняется впоследствии, вовсе не кризисы.

Наиболее заметный из этих фальшивых кризисов случается как по часам: такие кризисы называются выборами. В главе «Демократии в Америке», озаглавленной (с осознанной иронией) «Кризисная ситуация во время выборов», Токвиль описывает ритуальную истерию, сопровождающую эти события:

По мере приближения выборов интриги нарастают, а волнение людей приобретает все более лихорадочный и массовый характер... Вся страна взбудоражена, выборы становятся ежедневной темой всех публичных изданий, всех частных бесед, целью любых начинаний, объектом всех помыслов — словом, единственным в этот момент интересом у всей страны.

Правда, как только объявляются результаты выборов, эта суматоха кончается, все успокаиваются, словно река, вышедшая из берегов, а затем мирно возвращающаяся в собственное русло. И не удивительно ли вооб-

ще, что подобная буря могла-таки возникнуть? [Токвиль, 1992, с. 118].

Это иная сторона демократической инерции: она совмещается со значительной поверхностной активностью. Если бы инерция была просто пассивным состоянием ума, было бы проще доказать, что кризисы могли бы принести пользу, пробуждая демократии ото сна. Но Токвиль знал, что демократии на самом деле никогда не отходят ко сну. Что бы ни происходило, они почти всегда находятся в состоянии бодрствования, и это способствует поддержанию их маниакальности и капризности. Это означает, что они всегда высматривают грядущий кризис. Но также это значит, что почти все замеченные ими кризисы оказываются иллюзиями.

Выборы остаются наиболее показательными ложными кризисами демократической жизни — в силу как их регулярности, так и кратковременности. Каждые выборы описываются по шаблону — как поворотный пункт («наиболее важный выбор поколения» и т.д.). Но после завершения выборов таким же шаблонным является понимание того, что ничего особенного не поменялось. Временами бывают выборы, которые действительно оказываются поворотным моментом. Но, как мы увидим, для демократий характерно и то, что эти изменения обычно не замечаются вовремя.

По словам Токвиля, главными виновниками этой неразберихи являются газеты. Задача каждой газеты (по крайней мере, если она стремится привлечь читателей и заработать денег) — раздуть кризис. Не может быть демократии без живой и склочной прессы. Но сама живость прессы приводит к тому, что людям сложно понять, когда они на самом деле должны обратить на что-то внимание. Токвиль счел американские газеты чудовищно вульгарными и крайне возбудимыми. «В Америке журналистский

стиль, — писал он, — грубо, беззастенчиво, не подыскивая выражений, обрушиться на свою жертву, оставив в стороне всякие принципы, будет давить на слабое место, ставя перед собой единственную цель — подловить человека, а далее преследовать его в личной жизни, обнажая его слабости и пороки». Он продолжает: «Должно сожалеть о подобных злоупотреблениях; <...> [но] Нельзя не признать, что политическое воздействие свободы печати имеет немалое значение непосредственно для поддержания общественного порядка». Спустя какое-то время люди настолько привыкают к шуму свободной прессы, что едва ли вообще его замечают. Любая незначительная вспышка гнева вскоре сходит на нет, замещаясь другой. «По этой же причине взгляды, выражаемые журналистом, не имеют никакого веса у читателей» [Токвиль, 1992, с. 152–153 (пер. изменен)]. Газеты, как и выборы, показывали, в какой мере разглагольствования о кризисе являются составляющей обычного распорядка демократической жизни и как мало они значат.

Газетная истерия была лишь частью более общей проблемы: кризис мог бы принести пользу демократии, но демократиям сложно распознавать кризисы. Они реагируют слишком сильно, но также и слишком слабо; у них нет чувства меры. Вот почему так сложно понять, кризис какого типа позволил бы демократии выучить преподнесенный им урок. Если бы кризис оказался таким серьезным, что ни у кого уже не было бы сомнений в его реальности, тогда всегда оставался бы риск, что он закончится катастрофой. Если же он не заканчивается катастрофой, всегда есть риск, что он будет причислен — в качестве ложной тревоги — к другим переоцененным кризисам демократической жизни. И даже на настоящих кризисах — тех, в которых никто не мог бы усомниться, — учиться было сложно. Если демократия не выживет, это будет означать, что вы выучили урок, но неприемлемой ценой. Если демократия выжи-

вет, значит, вы, возможно, выучили тот урок, что демократия может пережить любой кризис. Если вы оправились от ошибок, вы, возможно, стали не мудрым, а беззаботным.

Однако у демократий был и другой способ учиться на кризисе. Это не обязательно должен быть их собственный кризис. Они могли бы научиться на чужих ошибках. Они могли взглянуть на катастрофические результаты демократии в других частях света и подумать: мы должны сделать так, чтобы с нами этого не случилось. Токвиль полагал, что американской демократии могла бы в этом смысле пойти на пользу бóльшая осведомленность в происходящем в Европе, и точно так же он надеялся, что европейцы смогут научиться на опыте Америки.

Одна из причин, по которой он написал «Демократию в Америке», — желание показать своим французским читателям, как демократия работает в условиях, отличных от их собственных, дабы они могли почувствовать перспективу. Они по крайней мере поняли бы, что она *может* работать. Америка с ее способностью переживать собственные ошибки могла бы научить европейцев тому, что демократия все еще возможна. Европа с ее сохраняющимися монархиями и историей поражений демократии могла бы научить американцев тому, что демократия не является неизбежной. Они могли бы понять, что она не *всегда* работает. Мир, в котором демократия существовала на разных стадиях развития и с разными шансами на успех, опровергал тот взгляд, будто план, предначертанный Богом для универсума, — дело решенное. Будущее все еще было открытым.

Но действительно ли демократии могли учиться на чужих ошибках? Американская демократия вследствие своей изолированности от остального мира была замкнута в себе, провинциальна, себялюбива. Ей было на самом деле сложно увидеть что-то за пределами своего непосредственного горизонта. Когда демократии сталкиваются с

чужим опытом, они могут счесть его угрозой, а не уроком. Кроме того, не было гарантий, что та или иная демократическая страна может быть полностью изолирована от дурных последствий провала демократии в какой-то другой стране. Даже США, отрезанные от остального мира, не могли предположить, что проблемы других государств являются всего лишь нравоучительными байками. Всегда оставалась возможность, что последствия того или иного европейского кризиса перекинутся на США. И тогда это будет кризис и для Америки.

Стоило ли делать ставку на кризисную политику, дабы вернуть демократии чувство цели? В конечном счете Токвиль и Милье разошлись в своих ответах на этот вопрос⁵. Разрыв произошел из-за событий, происходивших не в Америке, а в Европе. В конце 1840 г. Британия и Франция оказались на пороге войны, когда, будучи империями, поспорили за права на Судан. Милье был резко против войны. Токвиль же ее с энтузиазмом поддержал. Милье думал, что подобная война между двумя молодыми демократиями была глупостью, а политики, которые ее раздували, — преступниками. Наибольшим презрением он потчевал воинственного министра иностранных дел Британии Пальмерстона, на которого не пожалел яда в своем письме Токвилю: «Я был бы рад прошагать 20 миль, чтобы увидеть, что его повесили, особенно если бы Тьер [его коллега из фран-

⁵ Для разногласий между ними были и другие причины. Милье, как и многие другие читатели «Демократии в Америке», полагал, что Токвиль не дал точного определения тому, что подразумевается у него под демократией, и он подозревал, что Токвиль ругает демократию за грехи, которые на самом деле относились к принципу равенства (среди них — посредственность и конформизм). Однако наиболее яркие взгляды Токвиля относятся именно к демократии (пусть и определенной в самых общих чертах), а не к равенству: именно демократический дух Америки породил отличительное для нее сочетание поверхностной активности и глубокой инерции. Милье и Токвиль оба соглашались с этим.

цузского министерства иностранных дел] висел рядом» [Mill, 1963, p. 460]. По всей вероятности, ни одна демократия не сможет ничему научиться, пока она в руках подобных негодяев и их истерических сторонников в прессе.

Токвиль смотрел на дело иначе. Как и многие французы, он не думал, что Британия, несмотря на все ее либеральные традиции, является настоящей демократией. Это было, по его мнению, все еще аристократическое по своим основам общество, чьими типичными представителями были такие люди, как Пальмерстон. Франция была намного более реальной демократией (т.е. на пути к равенству условий она продвинулась дальше), но она застряла в колее и потеряла всякое представление о своей собственной силе в результате затянувшегося и крайне неприятного послереволюционного похмелья. Ей было нужно что-то такое, что позволило бы стряхнуть оцепенение, в которое слишком легко впадал французский ум. И этого результата нельзя было достичь за счет международного сотрудничества. В 1841 г. он с насмешкой написал Миллю: «Нельзя позволить нации с такой демократической конституцией, как у нашей... приобрести в ранние годы привычку жертвовать своим величием ради собственного спокойствия. Нет ничего здорового в том, чтобы позволить такой нации утешаться строительством железных дорог» [Tocqueville, 1985, p. 151]. Токвиль думал, что демократиям время от времени нужен реальный кризис, чтобы они могли показать, на что способны. Милль полагал, что желать демократии кризиса — нечто совершенно безответственное, если знаешь, на что они при таком кризисе способны.

Токвиль и Милль оказались по разные стороны этого спора, но в нем отражались две стороны их общего взгляда на демократию. Вещи, в которых демократии хороши (торговля, комфорт), плохи для демократии, поскольку они вскармливают узколобость и самодовольство; вещи, в которых демократии плохи (кризисное управление, меж-

дународные столкновения), хороши для демократии, поскольку они способны расширить ее горизонты и стряхнуть это чувство самодовольства. Нельзя найти простой выход из этой дилеммы. Причина, по которой Милль и Токвиль не могли согласиться по вопросу войны между Британией и Францией, состояла не только в том, что они оказались буквально по разные стороны. Она была еще и в том, что в кризисе для демократии всегда есть две стороны — хорошая и плохая, — и примирить их бывает чрезвычайно трудно.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БУДУЩЕМУ

Многое из того, что Токвиль сказал о демократии и кризисе, было несистематичным: его мысли по этой теме беспорядочно разбросаны по разным текстам. Не всегда ясно, что он хочет сказать, и он не всегда последователен. Кроме того, по большей части то, что он говорил, лишь догадки. Тогда просто не существовало данных, позволяющих выяснить, как демократии справятся с критическими ситуациями. В Америке была работоспособная демократия, но не было кризисов. В Европе были кризисы, но не было действующих демократий.

Тем не менее размышления Токвиля составляют относительно четкий комплекс предсказаний о том, как могла бы сложиться судьба демократий. В целом демократии должны лучше справляться с кризисами, чем конкурирующие системы, поскольку демократии лучше адаптируются. Но тут есть три проблемы. Во-первых, демократии плохо распознают критические ситуации: весь этот поверхностный шум демократической политики отбивает у них чувствительность к действительно поворотным пунктам. Во-вторых, кризисы должны стать по-настоящему серьезными, прежде чем демократии смогут показать свои долгосрочные сильные стороны, но ког-